

Жизненное начало Руси
будет крепнуть и процветать

ПРИЗВАНИЕ РОССИИ



АЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ

РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

Русские мыслители (Рипол)

Алексей Хомяков

Призвание России (сборник)

«РИПОЛ Классик»

до 1860 г.

УДК 82-94
ББК 85

Хомяков А. С.

Призвание России (сборник) / А. С. Хомяков — «РИПОЛ
Классик», до 1860 г. — (Русские мыслители (Рипол))

ISBN 978-5-386-07288-9

Алексей Степанович Хомяков – личность удивительно разносторонняя. Он увлекался математикой и живописью, служил в гвардии, писал стихи и драмы. Однако история сохранила имя Хомякова как одного из создателей самобытного философского течения – славянофильства. В нашем сборнике представлена гражданская лирика Алексея Хомякова, а также его философская публицистика, чтение которой побуждает нас задуматься о судьбах России и славянства, православия и католицизма, проанализировать, в чем состоит уникальность исторического развития нашего Отечества.

УДК 82-94
ББК 85

ISBN 978-5-386-07288-9

© Хомяков А. С., до 1860 г.
© РИПОЛ Классик, до 1860 г.

Содержание

Николай Бердяев	6
Глава I	6
Глава II	17
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Алексей Степанович Хомяков

Призвание России

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

Николай Бердяев **Алексей Степанович Хомяков**

Глава I **Истоки славянофильства**

История русского самосознания XIX века полна распрей славянофильства и западничества. В распре этой с мукой рождалось наше национальное самосознание. Но окончательно станет зрелым и мужественным наше национальное самосознание лишь тогда, когда прекратится эта вековая распря, преодолется раскол славянофильства и западничества, принимавших столь разнообразные формы, и вечная правда славянофильства вместе с вечной правдой западничества войдёт органически в наше национальное бытие. Мы, по-видимому, вступаем в такую эпоху, и у дверей её должны вспомнить своих отцов и дедов, с любовью проникнуть в историю нашего духа. Неблагородно было бы забыть своё отчество и не ведать своего происхождения. Проходят уже те времена, когда можно было третировать или игнорировать славянофильство, видеть лишь его временную оболочку, от которой ничего не останется для вечности. Славянофильство устарело, отошло в область истории, иные стороны славянофильства выродились до неузнаваемости. Мы не можем уже вернуться к славянофильству, мы слишком много пережили, и учение славянофилов и психология их в слишком многом нам чужды. Но в славянофильстве есть и вечное, перешедшее в нас, и мы должны помнить классических славянофилов как отцов и дедов. Наивная старомодность славянофилов не умаляет их значения и для новых времён.

Славянофильство – первая попытка нашего самосознания, первая самостоятельная у нас идеология. Тысячелетие продолжалось русское бытие, но русское самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей Хомяков с дерзновением поставили вопрос о том, что такое Россия, в чём её сущность, её призвание и место в мире. В этом деле зарождающегося самосознания с ними может быть поставлен рядом лишь Чаадаев, так как гениальная боль его о России была мукой рождения русского самосознания, западничество его было столь же национальным подвигом, как и славянофильство Киреевского и Хомякова. До славянофилов, до Чаадаева в России было лишь поверхностное, наносное, не выстраданное западничество русского барства и полуварварского просветительства да официально-казённый национализм – скорее практика власти, чем идеология. Славянофильскому самосознанию предшествовало явление Пушкина – русского национального гения. Но Пушкин был великим явлением национального бытия, а не национального самосознания. Через Пушкина, после Пушкина могло лишь начаться идеологическое самосознание. Это хорошо понимал Достоевский. Славянофилы и были первыми русскими европейцами, европейцами в более глубоком смысле слова, чем русские люди XVIII века, принявшие лишь костюм, лишь внешность европейского просвещения. Славянофилы были теми русскими людьми, которые стали мыслить самостоятельно, которые оказались на высоте европейской культуры, которые не только усвоили себе европейски-всемирную культуру, но и пытались в ней творчески участвовать. Настоящим европейцем делается лишь тот, кто творчески участвует в мировой культуре и мировом сознании. Тот варвар ещё, кто лишь подражает европейской культуре, лишь обезьянничает, лишь усваивает себе верхушки. И пора признать, что славянофилы были лучшими европейцами, людьми более культурными, чем многие-многие наши западники. Славянофилы творчески преломили в нашем национальном духе то, что совершалось на вершинах европейской и мировой культуры. Лучше западников впитали в себя славянофилы европейскую философию.

фию, прошли через Шеллинга и Гегеля – эти вершины европейской мысли той эпохи. Главная заслуга и своеобразие славянофилов не в том, что они были независимы от западных и мировых влияний и черпали всё лишь на Востоке, а в том, что они впервые отнеслись к западным и мировым идеям творчески и самостоятельно, то есть дерзнули войти в круговорот мировой культурной жизни. Значение славянофилов нужно искать не в том, что они не хотели знать Гегеля и Шеллинга и не испытали на себе их влияния, а в том, что они творчески пытались переработать Гегеля и Шеллинга, самостоятельно к ним отнеслись и сказали тем своё слово в развитии философской мысли.

Славянофилы определили русскую мысль как религиозную по преимуществу. В этом их неумирающая заслуга, тут нужно искать истинного раскрытия природы нашего национального духа. Славянофилы впервые ясно сформулировали, что центр русской духовной жизни – религиозный, что русская тревога и русское искание в существе своём религиозны. И до наших дней всё, что было и есть оригинального, творческого, значительного в нашей культуре, в нашей литературе и философии, в нашем самосознании, всё это – религиозное по теме, по устремлению, по размаху. Нерелигиозная мысль у нас всегда неоригинальна, плоска, заимствованна, не с ней связаны самые яркие наши таланты, не в ней нужно искать русского гения. Русские гении и таланты не все были славянофилами, были среди них и противники славянофильства, но все, все они были религиозны и этим оправдывали славянофильское самосознание. Чаадаев, Киреевский, Хомяков, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Л. Толстой, К. Леонтьев, Вл. Соловьёв – вот цвет русской культуры, вот что мы дали культуре мировой, с чем связана наша гениальность. Все эти люди жили и творили в пафосе религиозном. Как серо, неоригинально, негениально в сравнении с этим духом западническое направление – рационалистическое, враждебное религиозному сознанию. И тут, когда бывало что-нибудь значительное, всегда было связано с религиозной тревогой, хотя бы в форме страстного, по-своему религиозного атеизма. Да, устарела славянофильская доктрина, чужд нам их душевный уклад, вырождаются их потомки, но не устарело, навеки осталось то славянофильское сознание, что русский дух религиозен и что мысль русская имеет религиозное призвание. Тут славянофильство угадало что-то такое, что пребудет навеки, что важно и нужно и тому, кому не нужны и даже противны ветхие одежды славянофильские. И потому славянофилы остаются основоположниками нашего национального самосознания, впервые сознавшими и сформулировавшими направление русской культуры. Русские западники, для которых религиозный принцип стоит в центре, которые сознают религиозное призвание России, подтверждают основную истину славянофильского сознания. Таким западником был Вл. Соловьёв, его западничество было своеобразным подтверждением правды славянофильства, вечного в славянофильстве. Вечная правда славянофильства не есть правда направленная, не есть правда какой-нибудь школы и партии, это – правда всенародная, общенациональная. Славянофильство, как направление, школа и партия, выродилось и умерло, но общенациональная правда его живёт и пребывает в самых различных направлениях, школах и партиях. Правда славянофильства подтверждается и Львом Толстым, и Владимиром Соловьёвым, и новейшими явлениями в русской литературе и искусстве.

Замечательная эпоха Александра I предшествовала зарождению славянофильского сознания. Эпоха эта ознаменовалась сильным мистическим движением, но мистицизм этот был почти бесплоден в истории нашего самосознания, не оставил после себя традиции, и следы его трудно отыскать в русской литературе и философии. Мистицизм александровской эпохи был явлением заносным, заимствованным, переводным, не связанным органически с нашим национальным духом и потому поверхностным. У Хомякова с самого начала было отрицательное отношение к этому типу мистицизма. Трудно отыскать у славянофилов хоть какую-нибудь связь с Лабзиным и его «Сионским вестником» или с популярными тогда западными мистиками Юнгом, Штиллингом и Эккартсгаузенем. Этот мистицизм был на русской почве столь же поверхностным западничеством, как и вольтеррианство XVIII века. В мистицизме этом не рож-

далось национальное самосознание, не создавалась оригинальная идеология. Это лишь эпизод, интересный, стильный, но не глубокий, не творческий. Другой факт александровской эпохи, вообще очень знаменательной и значительной, оказал определяющее влияние на всю историю нашего самосознания XIX века, углубил русскую душу, заставил призадуматься, страхнул поверхностное западничество нашего барства. Я говорю об Отечественной войне двенадцатого года, значение которой безмерно. В ней родилось национальное самосознание, в ней дан был опыт всенародный, общенациональный – благодатное напряжение, после которого Россия возродилась к новой жизни. Отечественная война подготовила почву, на которой зародилось славянофильское самосознание, это один из жизненных истоков славянофильства. После испытаний Отечественной войны народилось поколение более глубокое, с окрепшим чувством России. Вопрос о национальном самоопределении и национальном призвании стал перед русскими людьми. Началась переоценка петербургского периода русской истории. Чувствование России отделилось от бюрократического механизма и связалось с жизнью народной. Блестящий, по-своему культурный и стильный век Екатерины отошёл в прошлое. Явилась потребность определить дух России и национальный лик России не по блестящим царедворцам, не по внешне цивилизованным барам, не умевшим говорить по-русски, а по органической жизни народной, по святине народной. Все народы проходят через моменты острого осознания своего национального призвания. В таком самосознании нет ещё ничего специфически русского и славянского. Но заслуга славянофилов в том, что они сделали первые шаги в этом великом для всякого народа деле. Славянофильство первое выразило в сознании тысячелетний уклад русской жизни, русской души, русской истории.

Смешно было бы отрицать западные влияния на славянофилов. Конечно, славянофилы питались и западной мыслью, конечно, претворили в себя западную культуру. Было бы печально, если бы славянофилы не стояли ни в какой связи с духовной и умственной историей Западной Европы, если бы ничему от неё не научились. Славянофильство входит в общий поток мировой истории, а потому и Россия входит в него и занимает в нём своё место. Нельзя отрицать влияния Шеллинга и Гегеля на славянофилов, нельзя отрицать и того, что славянофильство входит в мировое движение «романтической» реакции начала XIX века против рационализма XVIII века. Но эта романтическая реакция, которая была не только романтической, но и реалистической, не только реакцией, но и прогрессом, в каждой стране принимала форму национально-своеобразную. Французский романтизм очень мало походит на романтизм немецкий. Но во всех странах романтическое движение обращало к истории и к духу народному, не поддающемуся никакой рационализации, ставило остро проблему национального самосознания, национального призвания. Германский народ осознал себя в романтическом движении. То же было в Польше, в её мессианском движении, родственном мировому романтизму. И нужно сказать, что эта сторона романтизма – обращение к национальности, к истории – была глубоко реалистична, тут здоровый реализм восстал против рационалистической бесплотности и бескровности. То, что принято называть реакцией начала XIX века, было, конечно, творческим движением вперёд, внесением новых ценностей. Романтическая реакция была реакцией лишь в психологическом смысле этого слова. Она оплодотворила новый век творческим историзмом и освобождающим признанием иррациональной полноты жизни. Наше славянофильство принадлежало этому мировому потоку, который влёл все народы к национальному самосознанию, к органичности, к историзму. Тем бóльшая заслуга славянофилов, что в этом мировом потоке они сумели занять место своеобразное и оригинально выразить дух России и призвание России. Они – плоть от плоти и кровь от крови Русской земли, русской истории, русской души, они выросли из иной духовной почвы, чем романтики немецкие и французские. Шеллинг, Гегель, романтики прямо или косвенно влияли на славянофилов, связывали их с европейской культурой, но живым источником их самосознания национального и религиозного была Русская земля и восточное православие, неведомые никаким

Шеллингам, никаким западным людям. *Славянофильство довело до сознательного, идеологического выражения вечную истину православного Востока и исторический уклад Русской земли, соединив то и другое органически. Русская земля была для славянофилов прежде всего носителем христианской истины, а христианская истина была в православной Церкви. Славянофильство означало выявление православного христианства как особого типа культуры, как особого опыта религиозного, отличного от западнокатолического и потому творящего иную жизнь.* Поэтому славянофильство сыграло огромную роль не только в истории нашего национального самосознания, но и в истории православного самосознания.

Вл. Соловьёв не любил Хомякова, не всегда был к нему справедлив и, за исключением первого периода своей литературной деятельности, относился к славянофильству очень критически. Но он признавал огромную заслугу Хомякова и Самарина в раскрытии существенного содержания понятия Церкви. В сущности, Хомяков и славянофилы делают первый опыт церковного самосознания православного Востока. До них в России религиозная мысль, или, точнее, богословская мысль, всегда склонялась то к протестантизму, то к католицизму. Православного церковного самосознания в философски-богословском выражении просто не существовало. «Понятие о церкви, – говорит Вл. Соловьёв, – как о действительном существе не было, безусловно, новым открытием наших славянофилов. Твёрдое основание для этой мысли находится в Священном Писании, особенно у ап. Павла. Слабо развитая в творениях отеческих, потом забытая и католическою, и протестантскою схоластикою, эта идея была в настоящем столетии восстановлена и прекрасно изложена некоторыми германскими богословами (Мёлер). Но для дальнейшей разработки и жизненного осуществления этой идеи как начала вселенского единения весьма важно было, чтобы она явилась с двух сторон, не только в западной, но и в восточной оболочке. Введение её в наше религиозное сознание есть главная и неотъемлемая заслуга славянофильства». На вопрос о том, где Церковь, славянофилы ответили: «Церковь там, где люди, соединённые взаимною братскою любовью и свободным единением, становятся достойнымместилищем единой благодати Божьей, которая и есть истинная сущность и жизненное начало Церкви, образующее её в единый духовный организм». В главе о церковных и богословских идеях Хомякова я постараюсь показать, что Хомяков был гениальным богословом. В нём православный Восток осознал себя, выразил своеобразие своего религиозного пути. Хомяков хотел формулировать вселенское церковное сознание и пытался выразить самое существенное в Церкви вселенской. Но всё же религиозное сознание его было сознание православно-восточное, а не вселенское, всё же сознание его направлено против католического Запада. Католическому миру Хомяков отказывает в принадлежности к Церкви Христовой. На этой почве выросли все грехи славянофильства, в этом коренилась его ограниченность. Но православный Восток должен был пройти через исключительность своего религиозного осознания, без этого он не может перейти к вселенскому единству. И потому церковное сознание славянофилов провиденциально, несмотря на свою ограниченность. Знаменательно, что в XIX веке величайшим богословом православного Востока был светский писатель Хомяков, как величайшим богословом католического Запада был светский писатель Жозеф де Местр. И Хомяков, и Жозеф де Местр ничего общего не имели со школьным богословствованием, с традиционной богословской схоластикой. Это были прежде всего живые люди, люди живого религиозного опыта. В Хомякове и Ж. де Местре православный Восток и католический Запад осознали себя в своей исключительности и односторонности. И то был важный момент в движении к религиозному единству, к сознанию вселенскому. Во всяком случае, нужно признать, что славянофилы были первыми самостоятельными русскими богословами, первыми оригинальными православными мыслителями. По ним, а не по школьному богословствованию нашего духовного мира, можно судить о существенном в православии, в них больше было жизни православной России, чем у большей части епископов или профессоров духовных академий, которые богословствуют по профессии, а не по призванию. Юрий Самарин предло-

жил назвать Хомякова учителем Церкви. В этом, конечно, было дружеское преувеличение, но была и доля правды. Со времён старых учителей Церкви православный Восток не знает богослова такой силы, как Хомяков. Богословствование Хомякова обнаруживает ясно, в чём был главный источник славянофильства, жизненное его питание.

Думаю, что в основе всякого глубокого самосознания, всякой значительной идеи лежит опыт религиозный, не только индивидуальный, но и коллективный всенародный религиозный опыт. Славянофильство, конечно, выросло из религиозного опыта, а не из книжных влияний, не из философских и литературных идей. В этом всё его значение. Что же это за опыт, нашедший своё идейное выражение в славянофильстве? То был религиозный опыт всего русского народа за тысячелетнюю его историю, религиозный опыт восточного православия, претворённого в русской душе.

В основе славянофильства лежит именно русское православие, а не византийское, особый национально-психический тип веры. Всё своеобразие этого типа веры, национально-русскую физиономию этой веры, можно изучать по славянофилам. Восточное православие Россия получила от Византии, и много византийского вошло в поместную русскую Церковь. Но душа русская безмерно отличается от византийской: в ней нет византийского лукавства, византийского низкопоклонства перед сильными, культа государственности, схоластики, византийского уныния, жёсткости и мрачности. В русской народной стихии семя Церкви Христовой, заброшенное к нам из Византии, дало своеобразные ростки. Идеальные ростки христианства в русской душе можно изучать по славянофильству. Тут и своеобразный органический демократизм, и жажда соборности, преобладание единства любви над единством авторитета, нелюбовь к государственности, к формализму, к внешним гарантиям, преобладание внутренней свободы над внешним оформлением, патриархальное народничество и т. п. Св. Сергей Радонежский и Нил Сорский, русские старцы, русские юродивые, всё своеобразие христианского опыта на русской почве – всё это отпечателось на славянофильстве. Если от славянофильства – литературного течения XIX века – идти в глубь веков искать мистической его подпочвы, то мы дойдём до мистики восточноправославной, положенной в основание всей христианской культуры Востока, до добротолубия, до умного делания и умной молитвы. Восточнохристианская мистика своеобразно преломилась в русской душе, в русской стихии, в русском исконном язычестве. Есть коренное своеобразие у славян вообще, у русских в частности. Свообразие это идёт со времён язычества, составляет нашу естественную плоть и кровь, наше отчество по естеству, а не по духу. Эта юная, в культурном отношении девственная плоть и кровь ничего общего не имела с одряхлевшей, разлагающейся плотью и кровью византийской. Соков жизни не было уже в Византии, она слишком стара была по естеству своему, слишком сморщилась плоть её. Соки эти были в юной России. Славянофилы любили говорить, что семя истины Христовой пало в России на девственную почву, ничем не испорченную, и в этом видели главное оправдание тому убеждению своему, что Россия – страна христианская по преимуществу. В этом убеждении была доля истины, но было и невозможное преувеличение, отвергнутое исторической наукой. В славянофильском сознании мы встретим не только национально-русское христианство, но и национально-русское язычество. Тут мы подходим к другому жизненному, некнижному источнику славянофильства, к русскому национальному быту.

Не только восточноправославным христианством жизненно питалось славянофильство, но и русским бытом, русской деревней, историческими воспоминаниями, всем тысячелетним укладом русской жизни. В первооснове этого источника лежит исконное русское язычество, язычество, просветлённое христианской правдой, но просветлённое не до конца. Русский народ в бытовой своей истории, как и всякий народ, есть народ языческо-христианский, а не чисто христианский. И допетровский русский быт и быт послепетровский одинаково трудно признать христианским. Утверждение многих славянофилов, что в древней, допетровской Руси чуть ли не полностью было осуществлено христианство, звучит чудовищной фаль-

шью. Сам Хомяков протестовал против этого утверждения Киреевского. Правда Христова ни в каком национальном быту не была ещё осуществлена: христиане Града своего ещё не имели, они Града Грядущего взыскуют. Славянофилы же жили и мыслили так, точно Град свой они имели, жили в нем тысячелетия, вросли в него корнями так, что никакими силами не оторвёшь их от него. Но град, к которому принадлежали славянофилы по плоти и крови своей, был град языческий, а не христианский. Это искание Града Божьего в Древней Руси, это отношение к русскому национальному быту как к эпохе почти хилиастической обнаруживает двойственность славянофильства, их языческо-христианскую природу. Они смешали град языческий с тысячелетним Царством Христовым. Хорошо говорит М. Гершензон об истоках славянофильства: «Они все – и Иван Киреевский, и Хомяков, и Кошелев, и Самарин – были в своём мышлении каналами, через которые в русское общественное сознание хлынуло веками накапливавшееся, как подземные воды, мирознание русского народа». Мирознание же русского народа было не только христианское, но и языческое: русский народ принял правду Христову, дух Христов, но по плоти и крови принадлежал ещё к граду языческому, к быту языческому. Там же говорит Гершензон: «Они все вышли из старых и прочных, тепло насиженных гнёзд. На тучной почве крепостного права привольно и вместе закономерно, как дубы, вырастали эти роды, корнями незримо коренясь в народной жизни и питаясь её соками, вершиной достигая европейского просвещения, по крайней мере, в лучших семьях, а именно таковы были семьи Киреевских, Кошелевых, Самариных. Это важнейший факт в биографии славянофилов. Он во многом определял и их личный характер, и направление их мысли... Нам, нынешним, трудно понять славянофильство, потому что мы вырастаем совершенно иначе – катастрофически». Славянофилы были люди родового быта, типические русские помещики, крепкие земле. С молоком матери всосали они свои жизненные убеждения. Связь с отцами по плоти и крови была крепка в них. И с детских лет жила в славянофилах мечта о русском христианском, православном быте, о христианской крестьянской общине, о христианской семье, о христианском патриархальном государстве, в котором все отношения построены по образцу отношений отцов и детей. Много было идилличности в этой консервативно-романтической идеализации прошлого, в этой наивности и добродушии старых классических славянофилов. Но из этого язычески-бытового источника в дальнейшем ходе русской жизни получилось что-то уже недоброе, неидиллическое и неромантическое. Весь наш мракобесный, изуверский, реакционный национализм, полный самодовольства и исключительности, связан с нашим исконным бытовым язычеством, но язычеством уже разлагающимся, уже прогнившим. У славянофилов было ещё язычество в добром смысле слова, у последующих националистов не осталось ничего доброго. Владимир Соловьёв пришёл в ужас от плодов русского языческого национализма, и этот ужас делал его не всегда справедливым к старым славянофилам. Славянофилы всё же были универсалистами: не отрицая окончательно Запада, они искали в русском народе вселенскую правду Христову, искали Града Божьего. И если их хилиазм был наполовину языческий, то потому, что не настали ещё времена и сроки. Мы пережили со времён славянофильства много испытаний, много катастроф: пережили Достоевского и Толстого, нигилизм и анархизм, социализм и революцию, Ницше и декадентство. Нам легче теперь сбросить с себя бремя языческого быта, мы свободнее, воздушнее, более устремлены к Граду Грядущему. Мы живём в эпоху разложения быта и не знаем уже бытового уюта.

Я говорил о жизненно-религиозных и жизненно-национальных истоках славянофильства. Славянофильство – почвенно, выросло из земли, добыто из опыта. Но славянофильство – также культурное явление, стоящее на высоте европейской культуры своего времени. Славянофильство по-своему переработало западные идейные течения. Ни с какой точки зрения нельзя отрицать влияния Гегеля и Шеллинга. Гегель и Шеллинг помогли славянофилам осознать свой почвенный опыт. Славянофилы, а за ними все оригинальные русские мыслители всегда начинали философствовать с Гегеля, с потребности его преодолеть, перейти от его отвлечённости к

конкретности, и всегда были родственны стремлениям Шеллинга. Гегель – головокружительная высота рационалистической философии, в Гегеле есть титанизм и демонизм. Миновать Гегеля нельзя, и, быть может, главный дефект современной философии в том, что она недостаточно считается с Гегелем, этой вершиной, пределом, концом. Славянофилы гениально почувствовали, что необходимо посчитаться с Гегелем, его преодолеть, что в нём пробный камень. Они пережили Гегеля, преодолели Гегеля и перешли от его абстрактного идеализма к идеализму конкретному – оригинальному плоду русской мысли. В этом философском подвиге Киреевского и Хомякова была вечная их заслуга перед русской культурой. На Западе от отвлечённости гегельянства, утеравшего живое бытие, перешли к фейербахианству и материализму: в материи, в экономике стали искать субстрат, сущее. В России намечен был иной творческий путь, путь нахождения сущего, субстрата, живого бытия в мистическом восприятии, в религиозном опыте. Органом познания сущего признается не отвлечённый разум, не отвлечённый интеллект, а целостный дух. В Германии к тому же стремился Шеллинг, но остановился на полпути; так, до конца неясно было у него, что над чем главенствует, религия над философией или философия над религией. На пути целостного, мистического познания стоял Франц Баадер, но его славянофилы, по-видимому, не знали и под влиянием его не находились. Славянофилы по-своему осуществляли шеллинговскую задачу преодоления гегелевского отвлечённого рационализма. В этом деле они стояли на высоте европейской мысли, чувствовали, что совершалось на вершинах культуры, и предчувствовали то, к чему подойдёт мировое и русское сознание лет через шестьдесят – семьдесят, в нашу эпоху. Европейская мысль скиталась по пустыням отвлечённого материализма, позитивизма, критицизма, чтобы подойти к тупику и сознать неизбежность мистического опыта, воссоединиться с религией. Славянофилы давно уже сознали неизбежность этого перехода, предсказывали то шатание мысли, которое начнётся с крушения гегельянства и дойдёт до диалектического материализма. Да, Киреевский и Хомяков пережили влияние Гегеля и Шеллинга, но они претворили эти влияния в оригинальную философию, положившую основание русской философской традиции. То была конкретная философия целостного духа, а не отвлечённая философия отсечённого разума. Славянофилы обнаружили в высшей степени творческое отношение к той западной мысли, которой они питались, они не были пассивными воспринимателями западных влияний.

Наконец, славянофилы участвовали, как я уже указывал, в том мировом движении начала XIX века, которое носит условное и неверное название «романтической реакции». С движением этим связаны историзм, органичность, уважение к прошлому и любовное в него проникновение, признание иррационального в жизни, зарождение национального самосознания. Иррациональная природа индивидуальности человеческой и индивидуальности национальной начала освобождаться из-под гнёта рационализма XVIII века. В эту же эпоху зародилась идея развития как процесса органического и оплодотворила всю мысль века XIX. Заслуга «реакционного романтизма», которую не следовало бы забывать последующему «прогрессивному реализму». Славянофильство принадлежало этому мировому потоку, оно плыло в этом русле и занимало в нём своеобразное место. У славянофилов можно найти и учение об органическом развитии, и уважение к иррациональности истории, и национальный мессианизм. Но самый характер этого мирового движения таков, что не допускает механического заимствования и пересадки. Движение это признавало органичность и иррациональность у всех народов, звало к творчеству национальному. Поэтому утверждать влияние романтизма в широком смысле этого слова на славянофилов не значит отрицать их оригинальность. В Германии, во Франции, в Англии, в Польше, в России романтическое движение и пробудившееся в связи с ним национальное самосознание принимало формы самобытные, индивидуальные, очень разные. В славянофильстве «романтическая реакция» приняла ярко православную форму, в польском мессианизме – форму ярко католическую. Особенно важно отметить, что на русской почве, на основе нашего религиозного и духовного опыта, движение это получило несравненно более

реалистическую окраску, менее мечтательную. Романтизм вообще чужд духу восточного православия, в нём всегда была насыщенность, не было той страстной жажды, которая порожидала романтизм в лоне католичества. Поэтому славянофильство можно причислить к мировому «романтическому» движению лишь в условном смысле. Славянофилы – не романтики по своему душевному типу, они слишком бытовики, слишком люди земли, слишком здоровые. В них больше религиозной сытости, чем религиозной жажды. Особенно это должно сказать о Хомякове, человеке органически земляном, крепком, трезвом, реалистическом. В нём нет и следов романтической мечтательности и экзальтированности. Он больше ощущал себя органически вросшим в Град Русский, чем мечтал и жаждал Града Грядущего, в нём не было романтического томления. Даже тихая грусть и мечтательность Ивана Киреевского не были страстным устремлением, жаждой, томлением. Мировое романтическое движение преломилось в духовной сытости православия, сытости не в порицательном смысле, а в смысле глубокой насыщенности церковной святыней; преломилось и в реалистическом складе русского народа. Нельзя отрицать больших заслуг М. О. Гершензона в выяснении значения славянофильства в истории русского самосознания XIX века. В исторических работах Гершензона чувствуется свежая струя. Его отношение к славянофильству отличается и от школьно-западнического и от школьно-славянофильского, он пытается вылучить ценное зерно из славянофильского направления. Но эта операция совершается им путём раскрещивания славянофилов. Ценным и вечным зерном славянофильства Гершензон считает учение о целостной жизни духа, о космической первооснове личности. Бесспорно, важно это учение славянофилов, но оно не может быть отделено от их христианской веры. Для славянофилов цельная жизнь духа осуществлялась лишь в Церкви Христовой, и там лишь личность получала полноту и свободу. Цельность достигается лишь религиозно, а славянофилы не признавали какой-то религии вообще, религии отвлечённой, признавали лишь религию христианскую, и даже православную. Истина о цельной жизни духа и была для них истиной Христовой, через Христа лишь и Его Церковь достижимой. Вне Христа и Церкви Его цельная жизнь духа рассекается, и торжествует рационализм. Мистическая цельность духа даётся лишь опыту христианскому, лишь умному деланию. Необходимо отделить вечно ценное в славянофильстве от ветхих одежд славянофильских, от печальных судеб славянофильской школы. Но сам Гершензон находится на той ступени религиозного сознания, с которой не видно христианских глубин славянофильства. При его сознании и нельзя иначе формулировать вечно ценного в славянофильстве, чем он это делал. Но всё же Гершензон дал психологическую интерпретацию славянофильства, противоречащую бесспорным историческим фактам. А. И. Кошелев говорил: «Без православия наша народность – дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение». А Иван Киреевский говорил: «Особенность России заключалась лишь в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней, – во всём объёме её общественного и частного быта». Хомяков же был прежде всего православным богословом, христианским мыслителем, рыцарем православной Церкви. Хомякова Гершензон явно не любит и игнорирует в такой же мере, в какой любит до пристрастия Киреевских. Такое отношение к Хомякову мешает Гершензону оценить славянофильство в полноте, нарушает историческую перспективу. Центральная роль Хомякова в славянофильском лагере удостоверена всеми славянофилами, всеми воспоминаниями о нём. И роль эта должна выясниться из всего изложения моей книги. Сила Хомякова была в необычайной твёрдости, каменности его церковного самосознания и церковного самочувствия. Другие славянофилы не были так тверды, колебались, сомневались, и им импонировал Хомяков как учитель. Я очень ценю работы Гершензона, считая большой его заслугой борьбу с традицией Пыпина и других историков нашей мысли, считая его очень чутким к религиозному мотиву славянофилов и к психологическому их облику. Он чуть ли не первый увидел в славянофильстве опыт русского национального самосознания, а не одно из направлений в ряду других. Но его религиозная оценка славянофильства носит

явную печать границ его собственного религиозного сознания и опыта, а его игнорирование Хомякова обнаруживает пристрастие.

Считают спорным вопрос о том, кто был основателем и духовным отцом славянофильства, Хомяков или И. Киреевский, и кто на кого больше влиял. Я не вижу надобности выбирать, думаю, что оба были основателями славянофильства и влияли друг на друга. Если И. Киреевскому принадлежит честь первой формулировки основоположений славянофильской философии, которые потом развивал Хомяков, то Хомякову принадлежит ещё большая честь первой формулировки религиозного сознания славянофилов, учения о Церкви, то есть глубочайшей основы славянофильства. Хомяков написал гораздо больше, чем Киреевский, был многостороннее его и активнее. Хомяков был не только величайшим богословом славянофильской школы, он был также одним из величайших богословов православного Востока. Славянофильство, по существу своему, не было и не могло быть индивидуальным делом. В нём была соборность сознания и соборность творчества. Славянофильство создано коллективными усилиями. Но в этом коллективном, сверхиндивидуальном деле Хомякову принадлежит центральное место: то был самый сильный, самый многосторонний, самый активный, диалектически наиболее вооружённый человек школы. У Хомякова можно найти и славянофильское богословие, и славянофильскую философию, и славянофильскую историю, и славянофильскую филологию, славянофильскую публицистику и славянофильскую поэзию. И. Киреевский был романтиком славянофильской школы, натурой созерцательной, тихой и мистической, не воинственной, не плодovitой. Хомяков – натура наиболее реалистическая в славянофильстве и вместе с тем воинственная, боевая, с сильной диалектикой, с талантом полемиста. Они дополняли друг друга. Но если видеть в христианстве душу славянофильства, то первенство нужно будет признать за Хомяковым. Через всю свою жизнь пронёс Хомяков незыблемое церковное сознание, твёрдую, как скала, веру христианскую, ничем не соблазняясь, ни от чего не колебался, никакого кризиса не переживал. И. Киреевский стал христианином сравнительно позже, уже в сороковые годы; религиозно, церковно Киреевский шёл за Хомяковым и был под его влиянием. Хомяков – камень славянофильства, гранитная скала. Хотя он и писал стихи, но был менее поэтом славянофильства, чем Киреевский. Многим должен казаться И. Киреевский привлекательнее Хомякова, ближе нашей эпохе.

Но Хомяков нам нужнее. На протяжении всей моей книги я буду говорить о взаимоотношении И. Киреевского и Хомякова, особенно в главе о гносеологии и метафизике Хомякова. Теперь же приведу несколько выписок из Киреевского, важных для характеристики славянофильства и славянофильского отношения к Западу, которое обычно неверно себе представляют.

Пророчески звучат слова Ивана Киреевского: «Именно из того, что Жизнь *вытесняет* Поэзию, должны мы заключить, что стремление к Жизни и Поэзии *сошлись* и что, следовательно, час для поэта Жизни наступил». Тут формулируется проблема теургии, теургического творчества, проблема наших дней. Во времена Киреевского час этот не наступил ещё, он наступает ныне. Старые, классические славянофилы не так относились к Западу, как относятся претендующие быть их потомками и наследниками. Хомяков называл Запад «страной святых чудес». И. Киреевский говорил: «Да, если говорить откровенно, я и теперь ещё люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привязанностями»; «Направление к народности истинно у нас, как высшая ступень образованности, а не как душевный провинциализм. Поэтому, руководствуясь этой мыслью, можно смотреть на просвещение европейское как на неполное, одностороннее, не проникнутое истинным смыслом и потому ложное; но отрицать его, как бы несуществующее, значит стеснить собственное. Если европейское в самом деле ложное, если действительно противоречит началу истинной образованности, то начало это, как истинное, должно не оставлять

этого противоречия в уме человека, а, напротив, принять его в себя, оценить, поставить в свои границы и, подчинив таким образом собственному произволу, сообщить ему свой истинный смысл. Преодоление ложности этого просвещения нисколько не противоречит возможности его подчинения истине. Ибо всё ложное в основе своей есть истинное, только поставленное на чужое место: существо ложного начала как начала существования во лжи». И дальше: «И что, в самом деле, за польза нам отвергать и презирать то, что было и есть доброго в жизни Запада? Не есть ли оно, напротив, выражение нашего же начала, если наше начало истинное? Вследствие его господства над нами, всё прекрасное, благородное, христианское нам необходимо как своё, хотя бы было европейское, хотя бы африканское».

Как хорошо говорит Киреевский о необходимости философии в России: «Нам *необходима* философия: всё развитие нашего ума требует её. Ею одною живёт и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целостность нашим младенчеству наукам, и самая жизнь наша, может быть, займёт от неё изящество стройности. Но откуда придёт она? Где искать её? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша* философия должна развиться из *нашей* жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия». В чём видит Киреевский особенность России? На вопрос этот он отвечает известными словами, уже мною приведёнными: «Особенность России заключалась лишь в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней, – во всём объёме её общественного и частного бытия».

Славянофилы не только определили наше национальное самосознание как религиозное по духу и цели, но также поставили перед нашим самосознанием основную тему – тему Востока и Запада. Темой этой наполнена вся духовная жизнь России XIX века, и она передалась веку XX как основная, как поставленная перед нами всемирно-историческая задача. И до наших дней длящаяся борьба славянофильских и западнических начал в русском самосознании вся сосредоточена вокруг этой темы Востока и Запада. Славянофильство отвечает: Восток, западничество отвечает: Запад. Но наступают времена, когда нельзя уже выбирать – Восток или Запад, когда для самого бытия России и для выполнения её миссии нужно утверждать в ней и Восток и Запад, соединять в ней Восток с Западом. Мы связаны со славянофильской темой и религиозным направлением в решении этой темы. Но поколение наше безмерно отличается от поколения людей тридцатых и сороковых годов. Те были идеалистами и романтиками, в них много было идиличности и прекраснодушия. Мы волею судеб стали трагическими реалистами. Нами проблема Востока и Запада переживается апокалиптически, для нас она связана с эсхатологическими предчувствиями и надеждами. У славянофилов, как мы увидим, не было этой тревоги, этой жути, этого трагизма, почва не колебалась под ними, земля не горела, как под нами.

На духовном облике людей тридцатых и сороковых годов я остановлюсь подробно в характеристике личности Хомякова. Тогда ясно будет, чем отличается славянофильское поколение от поколения современного. Славянофилы жили как люди, имеющие свой град – Древнюю Русь, мы же живём как града своего не имеющие, как Града Грядущего взыскующие. Первые зачатки русского мессианизма связаны со старой идеей Москвы как Третьего Рима. Тут перешла на русскую почву идея всемирно-историческая, идея римская и византийская. Славянофилы приняли идею Москвы – Третьего Рима как бытовой факт, как исторический уклад, как эмпирику. Для них Третий Рим был не впереди, а позади. Идея Третьего Рима основывалась не столько на мистических упованиях, сколько на славянофильской науке – истории, лингвистике, этнографии. И нужно сказать, что эта наука была ложна, эта история, лингвистика, этнография слишком часто были фантастичны. Религиозный мессианизм не может зависеть от исторической науки, и историческая наука не должна искажаться в угоду религиозному мес-

сианизму. Славянофилы смешали науку и религию, так как в Град Божий вложили они свои бытовые симпатии, свои связи с исторической эмпирикой. Всё это ясно станет на анализе личности и миросозерцания Хомякова, к которому и переходим.

Глава II

Алексей Степанович Хомяков как личность

Я не предполагаю писать, в точном смысле слова, биографии Алексея Степановича Хомякова. Я хочу дать лишь его психологическую биографию, характеристику его личности. Нельзя понять учения иначе, как в связи с личностью. Всякое значительное учение есть дело значительной личности, из глубин её творится и глубинами её лишь объясняется. Хомяков был очень крупный, очень сильный, очень цельный человек, в нём отразились лучшие черты целой эпохи, целого уклада жизни, отошедшего в историю и воспринимаемого нами главным образом эстетически. В типе Хомякова есть пленительная эстетическая законченность. Хомяков был человеком родового быта, и его психологическую биографию нужно начинать с его предков и родителей.

«Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года в Москве, на Ордынке, в приходе Егория, что на Всполье. По отцу и по матери, урождённой Киреевской, он принадлежал к старинному русскому дворянству». Сам Алексей Степанович знал наперечёт своих предков лет за двести в глубь старины и сохранял в памяти «пропасть преданий» о екатерининской и вообще о дедовской старине. «Все его предки были коренные русские люди, и история не знает, чтобы Хомяковы когда-нибудь роднились с иностранцами». Фактом первостепенной важности в биографии Хомякова является способ происхождения земельных богатств Хомяковых. «В половине XVIII века жил под Тулою помещик Кирилл Иванович Хомяков. Схоронив жену и единственную дочь, он под старость остался одиноким владельцем большого состояния: кроме села Богучарова с деревнями в Тульском уезде, было у Кирилла Ивановича ещё имение в Рязанской губернии и дом в Петербурге. Всё это родовое богатство должно было после него пойти неведомо куда; и вот старик стал думать, кого бы наградить им. Не хотелось ему, чтобы вотчины его вышли из хомяковского рода; не хотелось и крестьян своих оставить во власть плохого человека. И собрал Кирилл Иванович в Богучарове мирскую сходку, и отдал крестьянам на их волю – выбрать себе помещика, какого хотят, только бы он был из рода Хомяковых, а кого изберёт мир, тому он обещал отказать по себе все деревни. И вот крестьяне послали ходоков по ближним и дальним местам, на какие указал им Кирилл Иванович, – искать достойного Хомякова. Когда вернулись ходоки, то опять собралась сходка и общим советом выбрала двоюродного племянника своего барина, молодого сержанта гвардии Фёдора Степановича Хомякова, человека очень небогатого. Кирилл Иванович пригласил его к себе и, узнав поближе, увидел, что прав был мирской выбор, что наречённый наследник его – добрый и разумный человек. Тогда старик завещал ему всё имение и вскоре скончался вполне спокойным, что крестьяне его остаются в верных руках. Так скромный молодой помещик стал владельцем большого состояния. Скоро молва о его домовитости и о порядке, в который привёл он своё имение, распространилась по всей губернии». Этот излюбленный мирской сходкой Хомяков был родным прадедом Алексея Степановича. Семейные воспоминания об этом исключительном способе происхождения земельных богатств должны были оказать огромное влияние на весь духовный облик А. С. Хомякова, определили его отношение к народной жизни, к народной сходке, к происхождению земельной собственности. Хомяков был полон того чувства, что его земельные богатства переданы ему народной сходкой, что он был избран народом, что народ поручил ему владеть землёй. И он отрицал абсолютное право собственности, как оно обычно конструируется юристами. Всю жизнь свою он думал, что земля принадлежит народу и что владельцу лишь поручают владеть землёй для общего народного блага. Вместе с тем выработалось у него особенное отношение к народу, особенное доверие к коллективной народной жизни, к решениям народной сходки. Он чувствовал свою кровную связь с народом и кровную связь с предками. И чувство это не было убито в нём тем фактом, что отец его, Степан Александрович, проиг-

рал в карты в Английском клубе более миллиона рублей. Жена его, Мария Алексеевна, мать Алексея Степановича, взяла дела в свои руки и поправила их.

В жизни А. С. Хомякова особенное значение имела мать. «Она, – пишет он Мухановой, – была благородным и чистым образчиком своего времени; и в силе её характера было что-то, принадлежащее эпохе более крепкой и смелой, чем эпохи следовавшие. Что до меня касается, то знаю, что, восколько я могу быть полезен, ей обязан я и своим направлением, и своей неуклончивостью в этом направлении, хотя она этого и не думала. Счастлив тот, у кого была такая мать и наставница в детстве, а в то же время какой урок смирения даёт такое убеждение! Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему? И мысли, по большей части сборные, и направление мыслей, заимствованное от первоначального воспитания». Для Хомякова характерно, что у него была органическая, кровная связь с матерью своей и матерью-землёй своей. Мать Хомякова была женщина суровая, религиозная, с характером, с дисциплиной. Ниже мы увидим, какое значение она имела для сына. Отец Хомякова был типичный русский помещик, член Английского клуба, человек образованный, но полный барских недостатков и слабостей. По матери Алексей Степанович был крепче, чем по отцу. «Следя за европейским просвещением в лице отца, в лице матери семья Хомяковых крепко держалась преданий родной стороны, насколько они выражались в жизни Церкви и быте народа».

Приведу характерные факты из детства и ранней юности Хомякова. Алексей Степанович обучался латинскому языку у аббата Voivin, который жил в доме Хомяковых. Ученик заметил как-то опечатку в папской булле и спросил аббата, как он может считать папу непогрешимым, тогда как святой отец делает ошибки правописания. За это досталось Алексею Степановичу. Но самый факт очень характерен. Хомяков рано начал свою полемику против католичества и сразу же обнаружил исключительно критическое к нему отношение. Когда Алексея Степановича с братом привезли в Петербург, то мальчикам показалось, что они в языческом городе и что их заставят переменить веру. Братья Хомяковы твёрдо решили лучше претерпеть мучения, чем принять чужой закон. И всю жизнь Хомяков боялся, что его, москвича и русского, заставят переменить православную веру, хотя опасности было не больше, чем в детском путешествии в Петербург. Опасность была, но совсем не там, где её видел Хомяков. Воинственная натура Алексея Степановича сказала очень рано. Семнадцати лет он пытался бежать из дому, чтобы принять участие в войне за освобождение Греции. Он купил засапожный нож, прихватил с собой небольшую сумму денег и тайком ушёл из дому. Его поймали за Серпуховской заставой и вернули домой. Состояние души юноши в момент этого воинственного порыва ярко обрисовано в первом стихотворении Хомякова «Послание к Веневитиновым», из которого приведу наиболее характерные места:

Итак, настал сей день победы, славы, мщенья:
Итак, свершились мечты воображенья,
Предчувствия души, сны юности златой;
Желанья пылкие исполнены судьбой!
От Северных морей, покрытых вечно льдами,
До Средиземных волн, возлюбленных богами,
Тех мест, где небеса, лазурь морских зыбей,
Скалы, леса, поля, – всё мило для очей, —
Во всех уже странах давно цвели народы
Законов под щитом, под сению свободы. <...>
Так я пойду, друзья, пойду в кровавый бой,
За счастье страны, по сердцу мне родной,
И, новый Леонид Эллады возрожденной,
Я буду жить в веках и памяти Вселенной.

Я гряну, как Перун! – Прелестный, сладкий сон!
Но никогда, увы, не совершится он!
И вы велите мне, как в светлы дни забавы,
Воспеть свирепу брань, деянья громкой славы?
Вотще: одной мечтой душа моя полна. <...>
О, если б глас Царя призвал нас в грозный бой!
О, если б он велел, чтоб русский меч стальной,
Спасатель слабых царств, надежда, страх вселенной,
Отмстил за горести Эллады угнетённой!
Тогда бы, грудью став средь доблестных бойцов,
За греков мщенье, честь и веру праотцов,
Я ожил бы ещё расцветшею душою
И, снова подружась с Каменою благою,
На лире сладостной, в объятиях друзей,
Я пел бы старину и битвы прежних дней.

Всё, что было романтического в природе Хомякова, всегда принимало форму стремления на войну. В восемнадцатилетнем возрасте отец определил Алексея Степановича в кирасирский полк под начальство графа Остен-Сакена, который оставил о нём воспоминания. «В физическом, нравственном и духовном воспитании, – говорит Остен-Сакен, – Хомяков был едва ли не единица. Образование его было поразительно превосходно, и я во всю жизнь свою не встречал ничего подобного в юношеском возрасте. Какое возвышенное направление имела его поэзия! Он не увлекался направлением века в поэзии чувственной. У него всё нравственно, духовно, возвышенно. Ездил верхом отлично. Прыгал через препятствия в высоту человека. На эскадронах дрался превосходно. Обладал силою воли не как юноша, но как муж, искушённый опытом. Строго исполнял все посты по уставу православной Церкви и в праздничные и воскресные дни посещал все богослужения... Он не позволял себе вне службы употреблять одежду из тонкого сукна, даже дома, и отвергнул позволение носить жестяные кирасы вместо железных полупудового весу, несмотря на малый рост и с виду слабое сложение. Относительно терпения и перенесения физической боли обладал он в высшей степени спартанскими качествами». Через год Хомяков был переведён в лейб-гвардии конный полк. В 1828 году осуществляется мечта семнадцатилетнего Хомякова. Он отправляется на войну, поступив в гусарский полк и состоя адъютантом при генерале князе Мадатове. Участвовал в многих делах. По словам современников, Хомяков, как офицер, отличался «холодною блестящею храбростью». У него было весёлое и вместе с тем человеческое отношение к бою. С театра военных действий Алексей Степанович пишет матери: «Я был в атаке, но хотя раза два замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень рад; после того подъехал к редуту, чтоб осмотреть его поближе. Тут подо мною была ранена моя белая лошадь, о которой очень жалею. Пуля пролетела насквозь через обе ноги; однако же есть надежда, что она выздоровеет. Прежде того она уже получила рану в переднюю лопатку саблею, но эта рана совсем пустая. За это я был представлен к *Владимиру*, но по разным обстоятельствам, не зависящим от князя Мадатова, получил только *Св. Анну* с бантом, впрочем, и этим очень можно быть довольным. Ловко я сюда приехал: как раз к делам, из которых одно жестоко наказало гордость турок, а другое утешило нашу дивизию за всё горе и труды прошлого года. Впрочем, я весел, здоров и очень доволен Пашкою». «И веселье кровавого боя», – восклицает он в стихотворении. Потом, когда Алексею Степановичу долго приходилось жить в деревне, в обстановке спокойной, его периодически тянуло на войну, в бой, и он изливал свои переживания в боевых стихотворениях.

Хомяков был современником декабристов, знал многих из них, но никогда не увлекался этим замечательным движением, всегда видел в нём легкомыслие молодости. В споре с Рыле-

евым Хомяков доказывал, что из всех революций самая несправедливая – военная. «Что такое войско? – говорил А. С. – Это – собрание людей, которых народ вооружил на свой счёт: оно служит народу. Где же будет правда, если эти люди, в противоположность своему назначению, начнут распоряжаться народом по своему произволу». Князя А. И. Одоевского Хомяков уверял, что тот не либерал, а лишь предпочитает единодержавию тиранию вооружённого меньшинства. Брат Алексея Степановича, Фёдор Степанович, осуждал декабристов за то, что они не знают *народной души*. Так же смотрел и Алексей Степанович. Движение декабристов представлялось ему не национальным. И удивительно, что этот критический и наполовину лишь справедливый взгляд сложился у Хомякова ещё в годы юности.

Хомяков был прежде всего типичный помещик, добрый русский барин, хороший хозяин, органически связанный с землёй и народом. Алексей Степанович – замечательный охотник, специалист по разным породам густопсовых.

У него есть даже статья об охоте и собаках. Он изобретает ружьё, которое бьёт дальше обыкновенных ружей; изобретает сельскохозяйственную машину – сеялку, за которую получает из Англии патент; изобретает средство от холеры. Устраивает винокурный завод, лечит крестьян, занят вопросами хозяйственно-экономическими. Этот русский помещик, практический, деловитый, охотник и техник, собачник и гомеопат, был замечательнейшим богословом православной Церкви, философом, филологом, историком, поэтом и публицистом. Друг его, Д. Н. Свербеев, писал о нём:

Поэт, механик и филолог,
Врач, живописец и теолог,
Общины русской публицист,
Ты мудр, как змей, как голубь, чист.

Хомяков – универсальный человек, человек из ряда вон выходящей многосторонности, с проблесками гениальности, ничего не сотворивший совершенного, но во всех сферах жизни и мысли оставивший заметный след. М. П. Погодин даёт восторженную и наивную характеристику Хомякова. В характеристике этой есть прелесть непосредственного, живого восприятия личности Алексея Степановича. «Хомяков! – восклицает он. – Что это была за натура, даровитая, любезная, своеобразная! Какой ум всеобъемлющий, какая живость, обилие в мыслях, которых у него в голове заключался, кажется, источник неиссякаемый, бывший ключом при всяком случае направо и налево! Сколько сведений самых разнородных, соединённых с необыкновенным даром слова, тёкшего из уст его живым потоком! Чего он не знал? И только слушая Хомякова, можно было верить баснословному преданию о Пике Мирандольском, предлагавшем прения *de omni re scibile*. Друг без друга они необъяснимы... Не было науки, в которой Хомяков не имел бы обширнейших познаний, которой не видел бы пределов, о которой не мог бы вести продолжительного разговора со специалистом или задать ему важных вопросов. Кажется, ему оставалось только объяснить некоторые недоразумения, пополнить несколько пробелов... И в то же время Хомяков писал проекты об освобождении крестьян за много лет до состоявшихся рескриптов, предлагал планы земских банков или по поводу газетных известий, на ту пору полученных, распределял границы американских республик, указывал дорогу судам, искавшим Франклина, анализировал до малейшей подробности сражения Наполеоновы, читал наизусть по целым страницам из Шекспира, Гёте или Байрона, излагает учение Эдды и буддийскую космогонию... И в то же время Хомяков изобретает какую-то машину с сугубым давлением, которую посылает на английскую всемирную выставку и берёт привилегию, сочиняет какое-то ружьё, которое хватает дальше всех, предлагает новые способы винокурения и сахароварения, лечит гомеопатией все болезни на несколько вёрст в окружности, скачет по полям с борзыми собаками зимней порошею за зайцами и описывает все достоинства и недо-

статки собак и лошадей, как самый опытный охотник, получает первый приз в обществе стрельбы в цель, а ввечеру является к вам с сочинёнными им тогда же анекдотами о каком-то диком прелате, пойманном в костромских лесах, о ревности какого-то пермского исправника в распространении христианской веры, за которое он был представлен к *Св. Владимиру*, но не мог получить его потому, что оказался мусульманином». Эта характеристика мила своей наивностью и восторженностью, и в ней много правды, несмотря на преувеличения. Хомяков действительно был таким универсальным человеком, одарённым необыкновенно. В этом отношении его можно сравнить с Гёте. Но натура Гёте была по-немецки дисциплинирована, натура же Хомякова была по-русски хаотична. Прежде всего, Хомяков был очень ленив, по собственному признанию и признанию своих близких.

В нашу эпоху религиозные мыслители и искатели не изобретают ружья, машины и средства от холеры, не ездят на охоту, мало понимают в породе густопсовых. Хомяков был ещё крепок земле, был человек родового быта, в нём не было воздушности последующих поколений. Вл. Соловьёв и люди его склада в трудные минуты жизни пишут стихи и в них изливают самое интимное. Хомяков в трудные минуты жизни едет на охоту и в погоне за зайцами разрешает свою тоску. В одном письме он говорит: «Где же поля и зайцы, и веселье скачки, и восторг травли, и все прочие наслаждения мои в качестве Нимвродова потомка (*le grand chasseur devant le Seigneur*)? Кстати скажу, что это родство даёт мне большее право судить о делах древнего Вавилона, чем немцам, учёным шмерцам, которые не сумеют отличить собачьего шипца от правила». Хомяков – человек с сильным характером, с огромным самообладанием. Он скрытен, не любит обнаруживать своих страданий, не интимен в своих стихах и письмах. По стихам Хомякова нельзя так разгадать интимные стороны его существа, как по стихам Вл. Соловьёва. В стихах своих он воинствен, точно из пушек стреляет, он горд и скрытен. Алексей Степанович был гордый человек, гордость – основная черта его характера. В стихах своих он часто употребляет слово *гордость*, это излюбленное его слово. В нем был пафос гордости. Но то не была гордость духовная по отношению к Высочайшему, то была гордость житейская по отношению к людям. И всего более сказалась эта черта характера Алексея Степановича в его отношении к женщинам. Хомякову пришлось пережить неразделённую любовь, и вот как он пережил это чувство.

* * *

Благодарю тебя! Когда любовью нежной
Сияли для меня лучи твоих очей,
Под игом сладостным заснул в груди мятежной
Порыв души моей.
Благодарю тебя! Когда твой взор суровый
На юного певца с холодностью упал,
Мой гордый дух вскипел, и прежние оковы
Я смело разорвал!
И шире мой полёт, живет в крыльях сила;
Всё в груди тишина, всё в сердце расцвело;
И песен благодать свежее осенила
Свободное чело!
Так, после ярых бурь, моря лазурней, тише,
Благоуханней лес, свежей долин краса;
Так, раненный слегка, орёл уходит выше,
В родные небеса!

Одно время Хомяков подвергался опасности полюбить известную Россет-Смирнову, но гордость победила это чувство, так как Россет, по мнению Алексея Степановича, чужда России.

Иностранке

А. О. Россет

Вокруг неё очарованье,
Вся роскошь юга дышит в ней:
От роз ей прелесть и название,
От звёзд полудня блеск очей.

Прикован к ней волшебной силой,
Поэт восторженный глядит;
Но никогда он деве милой
Своей любви не посвятит.

Пусть ей понятны сердца звуки,
Высокой думы красота,
Поэтов радости и муки,
Поэтов чистая мечта;

Пусть в ней душа, как пламень ясный,
Как дым молитвенных кадил;
Пусть ангел, светлый и прекрасный,
Её с рожденья осенил;

Но ей чужда моя Россия,
Отчизны дикая краса;
И ей милей страны другие,
Другие лучше небеса!

Пою ей песнь родного края —
Она не внемлет, не глядит!
При ней скажу я «Русь святая!»,
И сердце в ней не задрожит, —

И тщетно луч живого света
Из чёрных падает очей,
Ей гордая душа поэта
Не посвятит любви своей.

Очень характерно также стихотворение «Элегия»:

Когда вечерняя спускается роса,
И дремлет дольний мир, и ветер прохладой дует,

И синим сумраком одеты небеса,
И землю сонную луч месяца целует,
Мне страшно вспоминать житейскую борьбу,
И грустно быть одним, и сердце сердца просит,
И голос трепетный то ропщет на судьбу,
То имена любви невольно произносит...

Когда ж в час утренний проснувшийся Восток
Выводит с торжеством денницу золотую,
Иль солнце льёт лучи, как пламенный поток,
На ясный мир небес, на суету земную, —
Я снова бодр и свеж. На смутный быт людей
Бросаю смелый взгляд: улыбку и презренье
Одни я шлю в ответ грозе судьбы моей,
И радуется моё уединенье.
Готовая к борьбе и крепкая, как сталь,
Душа бежит любви бессильного желанья,
И, одинокая, любя свои страданья,
Питает гордую, безгласную печаль.

Гордое сознание во всём присуще Хомякову. Очень характерно говорит он о гордости церковной: «Этим нравом, этой силой, этой властью обязан я только счастью быть сыном Церкви, а вовсе не какой-нибудь личной моей силе. Говорю это смело и не без гордости, ибо неприлично относиться смиренно к тому, что даёт Церковь». В другом месте он пишет: «Вы не обвините меня в гордости, если скажу, что я хоть сколько-нибудь возвратил человеческому слову у нас слишком забываемое благородство». Скрытность и самообладание Хомякова связаны с чувством собственного достоинства, с благородной гордостью характера. В нём нет интимности, нет экспансивности, нет лиризма, он не хочет являться людям безоружным. Алексея Степановича часто обвиняли в холодности, в бесчувственности. В моменты страдания он обладал способностью говорить на самые отвлечённые, философские темы, ничем не показывая своего волнения. Так было в момент смерти Веневитинова. Муханов вспоминает о Хомякове: «Особенно была замечательна способность (философского) мышления, которая не оставляла его ни в каких обстоятельствах, как бы они сильно ни затрагивали его сердца при самых глубоко потрясавших обстоятельствах. Таким образом, он продолжал рассуждать самым ясным и спокойным образом о предметах самых отвлечённых, как будто ничего тревожного не происходило в то время».

Мать Алексея Степановича была по-своему очень замечательной женщиной, и нельзя не остановиться на её поступке относительно детей, имевшем большое значение в жизни А. С. Когда сыновья Марии Алексеевны пришли в соответствующий возраст, она призвала их к себе и высказала свой взгляд на то, что мужчина должен, как и девушка, сохранять своё целомудрие до женитьбы. Она взяла клятвы со своих сыновей, что они не вступят в связь ни с одной женщиной до брака. В случае нарушения клятвы она отказывала своим сыновьям в благословении. Клятва была дана и, по всем данным, была исполнена. Двадцати шести лет от роду Хомяков писал:

Признание

«Досель безвестна мне любовь.

И пылкой страсти огонь мятежный;
От милых взоров, ласки нежной
Моя не волновалась кровь».
Так сердца тайну в прежни годы
Я стройно в звуки облекал
И песню гордую свободы
Цевнице юной поверял,
Надеждами, мечтами славы
И дружбой верною богат,
Я презирал любви отравы
И не просил её наград.
С тех пор душа познала муки,
Надежд утраты, смерть друзей,
И грустно вторят песни звуки,
Сложенной в юности моей.
Я под ресницею стыдливой
Встречал очей огонь живой,
И длинных кудрей шёлк игривый,
И трепет груди молодой;
Уста с приветною улыбкой,
Румянец бархатных ланит,
И стройный стан, как пальма, гибкий,
И поступь лёгкую харит.
Бывало, в жилах кровь взывает,
И, страха, радости полна,
С усилием тяжким грудь вздыхает,
И сердце шепчет: вот она!
Но светлый миг очарованья
Прошёл, как сон, пропал и след:
Ей дики все мои мечтанья,
И непонятен ей поэт.
Когда ж? И сердцу станет больно,
И к арфе я прибегну вновь,
И прошепчу, вздохнув невольно:
Досель безвестна мне любовь.

А. И. Кошелев пишет об А. С.: «Хомяков – удивительный человек: свою нравственную страсть он доводит до последней крайности. В большом обществе, и в особенности при дамах, он невыносим. Он никогда не хочет быть любезным, опасаясь кого-нибудь тем привести в соблазн». Несколько раз зарождалось в нём чувство любви к женщине, но каждый раз умел он победить его, подчинив его разумным целям. Хомяков не был натурой эротической. Эротики нет в его творчестве. В этом он бесконечно отличается от Вл. Соловьёва. В нём разум и воля преобладали над чувством. Он не жил под обаянием женственности, и, быть может, потому ему чужды были иные стороны христианской мистики. Силён в нём был идеал семейственности, идеал патриархальный. Но нет в нём и следов высшей эротики, любви мистической. Это так чувствуется и в стихах его и в письмах. И как характерно это отсутствие эротики для славянофилов той эпохи. Как отличаются они от Вл. Соловьёва с его культом вечной женственности. В личности Хомякова и в произведениях Хомякова, во всём его складе, нет места для вечной женственности, для мировой души. Мы увидим это, когда будем говорить о философе-

ском мирозерцании Хомякова. Славянофильская патриархальность, ветхозаветная семейственность исключает культ вечной женственности. К 1836 году Хомяков сочетался браком с Екатериной Михайловной Языковой, сестрой поэта. Это был редко счастливый, безмятежный, безупречный брак. Хомяков был счастливцем в своей семейной жизни. Да и не могло быть у него иначе, иначе жизнь его не была бы столь органической. Горе пришлось испытать Хомякову: у него умерло двое детей, на смерть которых он написал своё известное стихотворение. Но внутреннего трагизма, внутренней неудовлетворённости он не знал.

Воинственность – характерная черта Хомякова. Черта эта сказалась и в том, что его часто тянуло на войну, и в воинственной манере писать, и в любви к диалектическим боям. Стихи его почти исключительно воинственны, не лиричны, не печальны. В творчестве своём Хомяков никогда не обнаруживал своих слабостей, внутренней борьбы, сомнений, исканий, подобно людям современным. Он догматик всегда. Догматическое упорство проникает всю его натуру. У него была неискоренимая потребность всегда органически утверждать и бороться во имя органического утверждения. В нём нет и следов мягкости и неопределённости натур сомневающих, мнящихся. Он ни в чём не сомневается и идёт в бой. В бой нельзя идти с сомнением, с внутренней борьбой. Плохой воин тот, кто борется с самим собой, а не с врагом. Хомяков всегда боролся с врагом, а не с самим собой, и этим он очень отличается от людей нашей эпохи, слишком часто ведущих борьбу с собою, а не с врагами. Современники прежде всего воспринимали Хомякова как диалектического бойца, как непобедимого спорщика, всегда вооружённого, всегда нападающего. В пылу диалектического боя Хомяков любил прибегать к парадоксам, впадал в крайности. Часто это бывало бессознательно, но иногда он и сознательно прибегал к парадоксам в целях боевых. Любил Хомяков острить и смеяться, он вечно смеялся, и смех его, по-видимому, некоторых соблазнял. Заподозривали его искренность. Может ли быть верующим вечно смеющийся человек? Не есть ли это показатель лёгкости, недостаточной серьёзности и глубины, может быть, скепсиса? Такой взгляд на человека вечно смеющегося очень поверхностен. Смех – явление сложное, глубокое, малоисследованное. В стихии смеха может быть преодоление противоречий бытия и подъём ввысь. Смех целомудренно прикрывает интимное, священное. Смех может быть самодисциплиной духа, его бронированием. И смех Хомякова был показателем его самодисциплины, быть может, его гордости и скрытности, остроты его ума, но никак не его скептицизма, неверия или неискренности. Смех прежде всего очень умен. Смех будет и в высшей гармонии. Слишком известно мнение Герцена о Хомякове, высказанное в «Былом и думах». Для многих эта характеристика Герцена является единственным источником суждений о Хомякове. Но Герцен так же не понимал Хомякова, как не понимал Чаадаева и Печорина; то был неведомый ему мир. Он был поражён необыкновенными дарованиями Хомякова, воспринимал его как непобедимого спорщика и диалектика, но сущность Хомякова была для него так же закрыта, как и сущность всех людей религиозного духа. Поэтому Герцен заподозривает искренность Хомякова, глубину его убеждений, как это всегда любят делать неверующие относительно верующих.

Из Чаадаева Герцен сделал либерала, из Хомякова – диалектика, прикрывавшего спорами внутреннюю пустоту. Но Герцен не может быть компетентным свидетелем и оценщиком религиозной полосы русской жизни и мысли.

Любовь к свободе была одним из корней существа Хомякова. Мы увидим, как сказалось свободолюбие Хомякова в его богословствовании. И вся жизнь его была проникнута ненавистью к принуждению и насилию, верой в органическую свободу, в её благодатную силу. Вся славянофильская доктрина Хомякова была учением об органической свободе. Организм для него всегда был свободен, лишь механизм был принудителен. Эта страстная любовь к свободе прекрасно выразилась в стихах Хомякова, посвящённых России. Он видит миссию России прежде всего в том, что она откроет западному миру тайну свободы.

Твоё всё то, чем дух святится,
В чём сердцу слышен глас Небес,
В чём жизнь грядущих дней таится,
Начала славы и чудес!..
О, вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси,
И в нём, сокрытого глубоко,
Ты духа жизни допроси!
Внимай ему – и, все народы
Обняв любовью своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей!
И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный,
Прозрачный Вышнего покров!

В стихотворении «Суд Божий» он говорит:

Согрей их дыханием свободы.

И то же звучит в стихотворении «Раскаявшейся России»:

Иди! Тебя зовут народы.
И, совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы.
Дай мысли жизнь, дай жизни мир!

Хомяков верил, что начало органической свободы заложено прежде всего в восточном православии, а затем и в духе русского народа, в русском деревенском быте, русском складе души и отношении к жизни. Запад не знает истинной свободы, там всё механизировано и рационализировано. Тайну свободы ведаёт лишь сердце России, неискажённо хранящей истину Христовой Церкви, и она лишь может поведать эту тайну современному миру, подчинившемуся внешней необходимости.

Любовь к свободе исключала для Хомякова возможность государственной службы. Он не мог быть чиновником, органически не мог быть, не мог быть и военным, хотя любил войну. Свободу бытовую он чувствовал лишь в деревне, в жизни помещика, ни от чего и ни от кого не зависящего, связанного непосредственно с природой. Хомяков был богатый русский барин, он не знал зависимости от начальства, не знал и зависимости от литературного труда, как многие русские писатели. Жизнь улыбалась ему. И его собственная бытовая, деревенски-помещичья свобода представлялась ему органической свободой всего русского народа, всего уклада русской жизни. Тут была ограниченность, связанная с бытом, с историческими условиями места и времени, но сама любовь к свободе была у Хомякова безграничной. Писал он лишь по вдохновению, и так же мало можно себе представить его профессиональным литератором или специалистом-учёным, как и чиновником. Хомяков был не меньше охотником, чем писателем, и не отказался бы от охоты с гончими во имя обязанности написать статью к сроку. У Хомякова была безграничность в стремлении к свободе и ограниченность бытовой формы, с которой он связывал осуществление свободы. Свобода, свобода жизненная, была для него тождественна с излюбленным бытом, почти что с бытом такой-то губернии, такого-то уезда. И само свобо-

долюбие русского народа он слишком исключительно связывал с патриархальным бытом, с семейственностью, с властью земли. В этом была ограниченность, которой нет в духе русского народа, мятежном и томящемся.

Любовь к семейственности очень характерна для Хомякова и для всех славянофилов. Все общественные отношения людей он представлял себе прежде всего по образцу отношений семейных. Хомяков был счастлив в семейной жизни и на счастье этом хотел основать свои надежды на счастье общественное. О счастье семейном говорит он, что «оно одно только на земле и заслуживает имя счастья»; «На Святой Руси нужен свой дом, своя семья для жизни». Общественность семейственная, по образцу семьи созданная, и есть патриархальный быт, в котором все отношения такие же, как отношения отцов и детей. С семейственностью Алексея Степановича была связана некоторая его скупость. Не только другие люди, но и сам он считал себя скупым и добродушно иронизировал над этим свойством, называя себя *papa Grandet*. «*Papa Grandet* не забыл своей выгоды», – пишет он в одном письме. Хомяков был настоящим англофилом, любил английский торизм, английский органический историзм. Он ездил в Англию в мурмолке и зипуне, полюбил англичан, и англичане полюбили его. Английский характер родствен Хомякову. Хомяков верил, что судьбы мира решатся в Москве и Лондоне, жаждал воссоединения англиканства с православной Церковью. Любовь к англичанам заходила у него так далеко, что он серьёзно считал англичан славянами. В письме об Англии у А. С. есть очень яркое место: «Вигизм – это насущный хлеб; торизм – это всякая жизненная радость, кроме разврата кабачного или ещё худшего разврата воксалов, это скачка и бой, это игра в мяч и пляска около майского столба или рождественское полено и весёлые святочные игры, это тишина и улыбающаяся святыня домашнего круга, это вся поэзия, всё благоухание жизни. В Англии тори – всякий старый дуб, с его длинными ветвями, всякая древняя колокольня, которая вдали вырезывается на небе. Под этим дубом много веселилось, в той древней церкви много молилось поколений минувших».

Торизм не был для Хомякова политической партией, он видел в нём душу английского народа. Такой торизм, по его мнению, кроме Англии можно найти лишь в России. «Если ты хочешь найти тористические начала вне Англии, оглянись: ты их найдёшь, и лучшие, потому что они не запечатлены личностью. Вот величие златоверхого Кремля с его соборами, и на юге пещеры Киева, и на севере Соловецкая святыня, и домашняя святыня семьи, и, более всего, вселенское общение никому не подсудного православия. Взгляни ещё: вот сила, назвавшая некогда Кузьму Минина выборным всей земли Русской, и ополчившая Пожарского, и увенчавшая дело своё избранием на престол Михаила и всего рода его; вот, наконец, деревенский мир, с его единодушной сходкой, с его судом по обычаю совести и правде внутренней. Великие, плодотворные блага». Хомяков очень любил Англию, но не любил романских народов, связанных с духом католичества, и терпеть не мог Франции, к которой бывал очень несправедлив. Немцев Хомяков всё-таки уважал, хотя и подсмеивался над немецкими «шмерцами». И никогда он не утверждал, что Запад гниёт. Для него Европа была «страной святых чудес».

Хомяков не был большим поэтом, но у него есть сильные стихотворения, и дарование его несомненно. Пушкин ценил поэзию Хомякова. Сам же он говорил про себя: «Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, то есть прозаитор везде проглядывает и, следовательно, должен, наконец, задушить стихотворца». Алексей Степанович был даровитый стихотворец, стихотворения его являются показателем его необыкновенной одарённости, но в них мало истинной поэзии.

Для нас стихи Хомякова интересны прежде всего как материал для характеристики его личности, для его психологической биографии. В этом отношении само отсутствие лиризма и интимности в его стихах очень характерно. Хомяков не только не был настоящим поэтом, – он не был и настоящим мистиком. Его можно назвать мистиком лишь постольку, поскольку всякого христианина можно назвать мистиком. Он учил о Церкви мистической, потому что

мистична самая сущность Церкви. Но специфической мистики у Хомякова нельзя найти. Он для этого был слишком трезвым, практическим человеком, слишком хороший хозяин, слишком любил охоту, религия его была слишком бытовая, семейственная. Хомяков – очень здоровый человек, не склонный к экстазам, не ведающий бездн. Ему чужда была даже восточно-христианская мистика – аскетика. Аскетике он принимал лишь в той минимальной степени, в какой всякий христианин её принимает, но особый мистический путь аскетики чужд ему. Хомяков – противник слишком аскетического понимания христианства, слишком силен был у него бытовой вкус к жизни, мила ему была языческая сторона русского быта. Западной же мистики он просто не знал. В одном месте он прямо говорит, что никогда не читал Якова Бёме, величайшего из мистиков. Хомяков безмерно злоупотребил обвинением всех и вся в рационализме, но у него самого была рационалистическая складка. Он был большой диалектик, сильный диалектик, и иногда слишком рационалистически критиковал рационализм. В его жизни был элемент рассудочности. Интимный религиозный опыт Хомякова, опыт молитвенный, был прикрыт элементами рассудочности и рационализма. В мистицизме Хомяков видел обратную сторону рационалистической рассечённости целостной жизни духа и потому относился к нему отрицательно. Но сама целостная жизнь духа может быть понята лишь как жизнь мистическая, а не бытовая. Хомяков же видел в быте больше настоящей веры, чем в мистике. Это очень для него характерно. Иван Киреевский сравнительно поздно стал верующим христианином, уже в сороковые годы, но религиозная жизнь его имела гораздо более мистическую окраску, чем у Хомякова. Киреевский был в общении со старцами Оптиной Пустыни, был проникнут духом восточной аскетики. Натура у него была более мистическая и созерцательная. Киреевский из всех славянофилов был наиболее мистически настроенный, последние годы жизни он жил в густой атмосфере православной мистики, близка ему была практика умного деланья. Вообще же славянофилы не были мистиками, у них не чувствуется мистического трепета. Совершенно чужда и Хомякову и другим славянофилам мистика апокалиптическая.

Хомяков не был гением, но в природе его была необыкновенная даровитость, приближающаяся к гениальности. Свою необыкновенную даровитость он не выразил ни в каком совершенном творении. Всё, что он писал, несовершенно. Хомякова изучают, но, за исключением тома богословских статей, его мало читают, у него почти нет книг для чтения. Это русская черта – обладать огромными дарованиями и не создать ничего совершенного. Немалую роль тут сыграла барская лень Хомякова, его дилетантское отношение к призванию писателя. Он относил к себе слова известного своего стихотворения о грехах России: «И лени мерзкой и позорной». Алексей Степанович писал между прочим, писательство не было главным делом его жизни. Не меньшую роль в его жизни играли занятия сельским хозяйством, охота, изобретения, проекты улучшения быта крестьян, семейные заботы. Он брался и за живопись, имел художественное дарование, писал в Париже иконы для католического храма, но не довёл своих художественных занятий до конца. Одно время он был очень занят винокурением и сахароварением. Был гомеопатом, изобрёл средство от холеры, лечил крестьян во время эпидемии. Преданность его гомеопатии была так велика, что, когда он умирал от воспаления лёгких и его умоляли лечиться обыкновенными средствами, он решительно отказался принимать какие-либо средства, кроме гомеопатических, так как видел в этом измену идее. Необыкновенная многосторонность в соединении с ленью и некоторым дилетантизмом мешали ему сотворить что-нибудь совершенное. Всё-таки Алексей Степанович был прежде всего помещиком, потом уже писателем, это не могло не отозваться на характере его писаний. Память у него была необыкновенная, он способен был проглотить в один день кучу книг, цитировал наизусть, писал без справок. Но в писательстве его нет никакой дисциплины, не чувствуется отношения к писательству как к главному призванию, как к задаче жизни. Манера писать у него очень разбросанная, хаотическая. Но всё, что он пишет, проникнуто одной идеей, хотя бы то была статья о спорте или охоте. Для характеристики его манеры писать приведу оглавление одной его статьи.

Статья «По поводу Гумбольдта» имеет следующее содержание: «Смешение факта с его разумением. – Очерк западной истории. – Книга Макса Штирнера. – Древнее русское общество. – Пётр I. – Ничтожество русской науки. – Личность в художестве. – Икона. – Отсутствие предания. – Мирские сходки. – Наш вигизм. – Возврат к русской жизни. – Самовоспитание». По оглавлению этому очень трудно сказать, о чём написана статья, так как она написана обо всём. В сущности, все статьи Хомякова написаны лишь об одном – о призвании России, все проникнуты одной идеей. В этом его сильная сторона. До чего А. С. был ленив в писании, недисциплинирован, до чего не был профессиональным писателем, можно заключить из того факта, что приятели запирали его на ключ, чтобы принудить писать «Записки по всемирной истории», его «Семирамиду». Гоголь заметил, что Хомяков пишет большую работу, увидел слово «Семирамида» в рукописи и сказал, что он «Семирамиду» пишет. Эта «Семирамида», три тома его сочинений, представляет из себя черновые заметки. Читать эти «Записки по всемирной истории» трудно, но лишь замечательный мыслитель мог написать такие заметки. Алексей Степанович начал писать прозой лишь в начале сороковых годов, до этого он писал только стихи и драмы.

Пленительно в Хомякове его рыцарское отношение к православной Церкви, его верность. Хомяков отрицательно относился к западному рыцарству, но сам был настоящим рыцарем православия, одним из немногих у нас рыцарей. Рыцарское отношение к Церкви редко можно встретить у нас и среди русского духовенства, и среди русского интеллигентного общества. Не хватает русским чувства церковного достоинства и чести, и слишком легко русские предают свою святыню во имя всяких идолов и кумиров. Хомяков, по словам Герцена, «подобно средневековым рыцарям, стерегущим храм Богородицы, спал вооружённым». В любой момент дня и ночи готов он был во всеоружии стать на защиту православной Церкви. В его отношении к Церкви не было ничего расслабленного, колеблющегося, неверного. Он прежде всего верный и твёрдый, в нём был камень церковный. Хомяков родился на свет Божий религиозно готовым, церковным, твёрдым, и через всю свою жизнь он пронёс свою веру и свою верность. Он всегда был благочестив, всегда был православным христианином. В нём не произошло никакого переворота, никакого изменения и никакой измены. Он единственный человек своей эпохи, не подвергшийся всеобщему увлечению философией Гегеля, не подчинивший свою веру философии. Ясность церковного сознания сопутствует ему во всей его жизни. Всю свою жизнь он соблюдал все обряды, постился, не боялся быть смешным в глазах общества индифферентного и равнодушного. Это высокая черта характера Алексея Степановича. Он соблюдал все посты и обряды, когда служил в конногвардейском полку, и носил мурмолку и зипун, когда путешествовал по Англии. Цельность своей природы Хомяков вложил в свою религиозную жизнь, и жизнь его была органической. Религиозность его была бытовая. Он бесконечно дорожил русским православным бытом, всем душевным обликом этого быта, вплоть до мелочей и подробностей. В нём не было религиозной тревоги, религиозной тоски, религиозного алкания. Это был религиозно сытый человек, спокойный, удовлетворённый.

В типе его религиозности священство преобладало над пророчеством, обладание своим градом – над взысканием Града Грядущего. Этим Хомяков глубоко отличается от Достоевского, от Вл. Соловьёва, от нас. В нём нет устремлённости, нет муки алчущих и жаждущих. Спокойно, твёрдо, уверенно пронёс Хомяков через всю свою жизнь свою веру православную, никогда не усомнился, никогда не пожелал большего, никогда не устремил взора своего в таинственную даль. Он жил религиозно, в Церкви каждый день, жил каждым днём, без чувства катастрофичности, без жути и ужаса. Он жил настоящим, освящённым православной верой, жил органически. Последующее поколение стало жить будущим и исполнилось жуткой тревоги. В жизни Хомякова тщетно было бы искать внутреннего трагизма. Было у него и большое горе, когда умерли дети, было и малое горе, когда всем славянофилам циркуляром министра внутренних дел предписано было сбрить бороды. Но прочтите его известное стихотворение на

смерть детей. Какая примирённость, религиозное преодоление ужаса, победа над трагизмом. И так во всём и всегда.

По единогласному отзыву современников, Хомяков играл центральную, руководящую роль в славянофильском кружке. Хомяков – признанный глава школы и, уж во всяком случае, первый её богослов. Другой славянофильский богослов, Юрий Самарин, по собственному признанию, был лишь учеником и последователем Хомякова. Из переписки членов славянофильского кружка ясно видна центральная роль Хомякова в вопросе о Церкви. У Хомякова искали другие славянофилы разрешения своих религиозных сомнений, своих колебаний в вопросе о Церкви. И все колеблющиеся, сомневающиеся, ищущие находили в Хомякове неизменную твёрдость, каменную веру, камень Церкви. Хомяков по природе своей не знал колебаний и сомнений, такой уж у него был дар. Было время, когда для всех членов славянофильского кружка вопрос о Церкви обострился до потери сна, до слёз. Сравнительно трезвый и практический Ю. Самарин плакал по целым ночам, так как не мог определить своего отношения к Церкви. Все русские люди в те дни были соблазнены философией Гегеля, с ней считали нужным согласовать всё, и свою веру. И вот Ю. Самарин приходит к той странной мысли, что судьба православной Церкви зависит от судьбы философии Гегеля. Эта мысль, очень характерная для того времени, показалась Хомякову чудовищной, так как он был твёрдо церковным человеком и был свободен от влияния гегелевской философии, которую блестяще критиковал. Лишь духовное влияние Хомякова освободило Ю. Самарина от философского рационализма и привело его к Церкви. Под влиянием Хомякова переработал Самарин свою диссертацию «Феофан Прокопович и Стефан Яворский» и развил в применении к конкретному случаю хомяковские идеи об отношении православия к католицизму и протестантизму. Таково же было влияние Хомякова на Кошелева, на Аксакова и др. Все ищущие и сомневающиеся собирались у Хомякова, приезжали к нему в деревню, говорили с ним целые дни и ночи и уходили от него укрепленными, направленными на путь церковный. Хомяков был самый сильный, самый твёрдый человек кружка. Говорил он очень много, говорил больше, чем писал и делал. Он способен был спорить целые дни и ночи. Эти его бесконечные споры сыграли положительную роль в своё время, так как он очень много давал окружающим, очень помогал. Он гораздо больше давал устной беседой, чем своими писаниями. Он был духовным руководителем славянофильского кружка и воинственным защитником его от врагов. Богословская гениальность Хомякова сделала его главой школы, мировоззрение которой было религиозным по преимуществу. Хомяков был первым светским богословом в православии, первым свободным богословом. В этом его неумирающее значение. Богословская сила Хомякова вытекала из твёрдости его природы, в основе которой лежал камень Церкви. Без Хомякова славянофильское мировоззрение не получило бы такой яркой церковной окраски, оно осталось бы религиозно расплывчатым и неопределённым. Ю. Самарин, верный ученик Хомякова, предложил назвать его учителем Церкви. Это преувеличение ученика и друга очень характерно и определяет роль Хомякова. Если Хомяков и не был учителем Церкви, то, во всяком случае, был церковным учителем славянофилов. Среди славянофилов не было другого человека, церковно столь твёрдого, столь верного.

У Хомякова был живой интерес к общественной жизни, боль о язвах русской общественности. Но он не любил политики, осуждал политические страсти. Нелюбовь к политике, аполитизм – национально-русская черта Хомякова. В славянофильстве ярко отразилась неapolитичность русского народа. Хомяков, как и все славянофилы, видел призвание русского народа не в политической жизни, а в высшей жизни духа. Общественность русская была для него прежде всего бытом, семейственностью. Он писал А. О. Смирновой: «Вам известно моё всегдашнее глубокое отвращение от всякого политического вопроса, а я теперь затравлен, заеден политикою. Куда ни выеду, куда ни повернусь, в мужское или дамское общество, всё речь одна: „Каков Ламартин или Ледрю-Роллен, и что пруссаки, и что Познань?“ Просто наваждение! Меня берёт

злость. Если бы вы, молодцы, думаю я, ходили в зипуне да в косоворотке, вы бы думали о своих домашних да семейных делах, а не об вздоре, до которого вам дела нет, и сами были бы умнее и мне бы не надоели». В письме к графине Блудовой А. С. говорит: «Вопросы политические не имеют для меня никакого интереса; одно только важно, это вопросы общественные». Как характерно для Хомякова, что его органический идеал был прежде всего «домашний». Он чувствовал сладость быта и не чувствовал прелести политической мощи. Всё славянофильское учение было выражением уверенности, что народ русский любит домашнюю жизнь и не любит жизни государственной. Это – психология и философия помещичьих усадеб, тёплых и уютных гнёзд. Слишком большое беспокойство, тревога, катастрофичность – всё это претило Алексею Степановичу, исключение он делал лишь для войны. Мы видели уже, что Хомяков-юноша резко отрицательно отнёсся к декабристам. Хомяков – зрелый муж также отрицательно отнёсся к революциям 48-го года. И не потому, что Хомяков был реакционером. Наоборот, он хотел прогресса и искренно любил свободу. Но хотел он мирного органического развития от дедов к внукам, развития бытового, семейственного, главным образом нравственного, без бурь, без политических катаклизмов. Эта приверженность органическому домашнему быту у последующих поколений перешла в сословно-классовую корысть, инерцию и застой. У самого Алексея Степановича было очень хорошее отношение к крестьянам, он неустанно заботился об их благе. Он любил своих крестьян и чувствовал единство с ними. Он писал проекты улучшения их быта и делал шаги к освобождению крестьян задолго до официальных шагов в этом направлении. У него было чувство ответственности за судьбу крестьян. Крестьяне плакали на могиле Хомякова и говорили, что такого барина не найти, что он мухи не обидел. Но Хомяков и свои интересы соблюдал, он был хозяйственный человек и оставил детям большое состояние.

Официальная власть всегда относилась к славянофилам подозрительно, хотя славянофильство было единственной приличной идеологией власти, единственной идейной санкцией самодержавия как обладающего высокой миссией. Абсолютная бюрократия не доверяла никаким идеям, никакому творческому самосознанию свободного духа. В николаевскую эпоху даже славянофилы – идеальные консерваторы – были на политическом подозрении.

Московский генерал-губернатор граф Закревский сказал великолепное *mot* своему приятелю по поводу петрашевской истории: «Что, брат, видишь: из московских славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему? *Значит,*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.